

ПРИРОДА “РУССКОЙ ВЛАСТИ”: ОТ МЕТАФОР — К КОНЦЕПЦИИ

В.А.Дубовцев, Н.С.Розов

“Русская власть” (“система русской власти”, “русская система” и т.д.) понимается нами как комплекс устойчивых и воспроизводящихся в российской политической истории свойств политических режимов. Речь идет о самодержавии (в разных формах: от великокняжеской до президентской), о стремлении к максимальной централизации, сосредоточению власти и контролю над ресурсами, нетерпимости к существованию какой-либо оппозиции, привычке делать ставку на принуждение и насилие. Сами термины ввели в оборот Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов [Пивоваров, Фурсов 1999], сходные взгляды высказывали и другие авторы [Янов 1997; Пастухов 2001].

Ю.С.Пивоваров говорит о нынешнем тотальном возвращении к русской системе власти и задается вопросом о причинах повторяемости такого явления в политической истории России: “...Почему происходит такое возвращение? Почему недолгие периоды демократии — а в XX столетии мы сталкивались с ними дважды — неизбежно уходят? И почему даже эти кратковременные всплески публичной политики расцениваются проницательными русскими аналитиками как вынужденно-переходные формы и этапы аутентичного, равного самому себе, неизменного в принципе русского исторического бытования?” [Пивоваров 2005].

Чтобы подступиться к вопросу о причинах воспроизводства “русской власти”, необходимо иметь хотя бы самые общие представления о природе самого феномена. В нашем распоряжении имеется быстро плодящееся множество вдохновенных текстов разных жанров и идейной направленности, но четких образов и идей предлагается существенно меньше. Что же до строгих концепций и эмпирически подкрепленных объяснительных теорий, то их и вовсе нет. Имеющиеся образы и идеи большей частью представляют собой метафоры, что само по себе отнюдь неплохо: данная фигура речи обычно дает емкое, рельефное представление, позволяющее интуитивно понять (“схватить”) внутреннюю суть явления. Однако верность такого “схватывания” переоценивать не следует: самые удачные и, казалось бы, решающие проблему метафоры нуждаются в рационализации, критическом осмыслении; даже доказав свою надежность, метафоры требуют концептуализации и эмпирической проверки.

ДУБОВЦЕВ Валерий Аркадьевич, кандидат политических наук, зам. министра государственного имущества Правительства Свердловской области, докторант Института философии и права Уральского отделения РАН; **РОЗОВ** Николай Сергеевич, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии и права Сибирского отделения РАН, профессор философского факультета Новосибирского государственного университета, член Сибирской академии политических наук.

МЕТАФОРЫ — ОТ ФИЗИКИ ДО МЕТАФИЗИКИ

Сами авторы понятия “русская власть” Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов не скрывают своей потрясенности и замороженности неуклонно воспроизводящимся в долгой истории России и, как им представляется, объясняющим все основные события и процессы явлением. Не случайно словосочетание “русская власть” то и дело дополняют определением “метафизическая”.

Суть *метафизической метафоры* сводится к представлению о некоей идеальной, надчеловеческой, всеподчиняющей сущности. Правда, метафизические сущности не рождаются и не умирают, а здесь приходится объяснять историческое происхождение “русской власти”, причем делается это с опорой на известный (и весьма некритически воспринятый) нарратив об изначальной полноценной “европейскости” Киевско-Новгородской Руси и роковой порче, привнесенной в нее “Ордой” (благо, история последней по-прежнему смутна и практически никак не документирована). Здесь на помощь авторам приходит следующая, *биологическая метафора*: “Однако в ордынском ордунге этот властный мутант был все же ограничен. Извне — Ордой, изнутри — самим фактом единства князя и боярства. Причем внутреннее ограничение опять-таки было обусловлено внешним — сплочением перед лицом Орды. Как только она пала, мутант прыгнул на Русь и стал для нее новой Ордой” [Пивоваров, Фурсов 1999: 183].

В оправдание перехода от монструозных мутантов к метафизике используется ссылка на “нормальное” европейское полисубъектное христианство: “Русская Власть есть в известном смысле ‘преодоление’, а не только редукция ‘нормальной’ христианской полисубъектности. Результат этого преодоления — метафизический характер (природа) Русской Власть” [там же]. Метафизическая природа служит универсальным объяснением для постоянного возрождения “русской власти” (вечность!), а биологическая тема уходит с авансцены, изредка напоминая о себе апелляцией к “инстинктам”, толкающим правителей на путь восстановления “русской власти” во всей ее полноте.

Метафизика малопригодна для объяснения периодических кризисов, сломов “русской власти”, поэтому здесь на помощь приходит *метафора физикалистская*. Весь многовековой тренд трактуется как двойственный процесс “утолщения” слоя приближенных к власти лиц (боярство, опричнина, дворянство, разночинное чиновничество, советская номенклатура, организованная концентрическими кольцами умельчающихся партийных, советских и хозяйственных руководителей, — “Властепопуляция”), с одной стороны, и “истончения” богатства (от боярских земель до советских пайков) — с другой. Сломы, смуты и последующие “переделы” “русской власти” происходят, согласно Ю.С.Пивоварову и А.И.Фурсову, либо при излишней концентрации власти-собственности в каком-либо из привластных слоев, либо при чрезмерной ее распыленности.

Следует отметить завидную экспрессивность биологической метафоры кошмарного мутанта, “прыгнувшего на Русь” и терзающего ее много столетий; конкуренцию ей может составить разве что пелевинский образ “аппарата” — “upper rat” — “верховой крысы”, грызущей страну (“Священная книга оборотня”). По сравнению с биологическими, метафизические атрибуты имеют, скорее, державно-духоподъемный характер. Первые хороши

для революционеров-радикалов-экстремистов (“убить дракона-мутанта”), вторые — для консерваторов-патриотов разных мастей (“у России своя метафизическая гордость, нам не указ даже западное полисубъектное христианство, не то что демократия”). Вместе с тем, концептуальный потенциал несет в себе не биологическая, а, скорее, более скромная физикалистская метафора “утолщения-истончения” слоев власти-собственности.

По-прежнему популярным источником образов и метафор остается для общественных наук биологический мир и органика человека: любое воспроизводящееся качество естественно объяснять через некий внутренний “генотип”. Так, В.Б.Пастухов в своем исследовании циклов проникновения на российскую почву и последующей трансформации западных идей (греческое православие, немецкий марксизм и англо-американский либерализм) вводит метафору “русского гена”: “Все эти ‘приключения западных идей в России’ немного напоминают генную инженерию. В уважаемую ‘западную’ клетку имплантируется агрессивный ‘русский’ ген. Клетка перерождается, из нее вырастает невиданный доселе гибрид, в котором слабо угадываются внешние признаки использованного в качестве донора биологического материала. Прожив нелегкую, полную мытарств жизнь, гибрид погибает, не оставив потомства. Но совершенствуется метод, и эксперимент повторяется вновь на новом биологическом материале. Конфликт содержания и формы (‘гена’ и ‘клетки’) сопровождает всю историю русской идеологии. Ее сквозной характеристикой является апология государственного произвола. Как бы русская мысль ни изощрялась, она всегда в конечном счете обоснует самодержавие” [Пастухов 2001: 56].

10

К сожалению, Пастухов останавливается в своих рассуждениях и не исследует важнейшую проблему природы этого “русского гена” со сквозной характеристикой защиты самодержавия. Примененная им биологическая метафора делает законными и (квази)биологические квалификации. Первую позицию можно назвать архетипическим преморфизмом. “Русский ген” представляет здесь неистребимое и навечно заданное твердое ядро неизменяемых архетипов — “семя”, которое вне зависимости от обстоятельств будет порождать одни и те же результаты (в конечном счете, защиту самодержавия, воспроизводство “русской системы” и т.д.). Противоположная позиция может быть названа социокультурным ламаркизмом, тут сам “русский ген” изменчив, а его устойчивые внешние проявления (все та же “защита самодержавия”) целиком или во многом обусловлены внешними обстоятельствами (например, социально-экономическими и геополитическими).

Очевидно, архетипический преморфизм может служить онтологическим основанием и для обнаруженного А.Л.Яновым альянса западных историков и советологов с державно-почвенническим направлением российской идеологии. Действительно, если “русский ген”, вот уже не одно столетие воспроизводящий самодержавие (в широком смысле), заложен в самое ядро русской культуры и неспособен к изменению, то пытаться как-то ему противостоять — это все равно, что надеяться из желудя вырастить розу. Социокультурный ламаркизм, напротив, более органичен для либерально-западнического направления: развитие рынка, приватизация, введение частной собственности и политических институтов демократии,

союз с западными демократиями должны в корне преобразовать российское общество. Следует отметить, что сам А.Л.Янов, будучи историком и являясь к тому же ярким представителем русского либерализма, скорее склонен к преформистской, чем к ламаркистской трактовке. “Тень Грозного царя” — для него не что иное, как внутренний, воспроизводящийся инвариант русской автократической системы [Янов 1997]. Свои либеральные надежды Янов связывает с наличием двух сосуществующих инвариантов: самодержавно-принудительного и либерально-демократического.

Как оценить эти предлагаемые нам модели? С одной стороны, постперестроечная история России свидетельствует в пользу *архетипического преформизма*: русская система власти восстанавливается в новых обликах, но с теми же существенными характеристиками. С другой стороны, легкость и успешность адаптации русских в Европе, США, Канаде, Австралии, Израиле показывает, что “русский ген” не фатален; опыт нахождения тех, кто ранее были советскими людьми, в иных социальных структурах, в иной культурной среде изменяет их личность. В любом случае “русский ген” (какова бы ни была его реальная, а не метафорическая природа) находится отнюдь не в индивидах! Ведь в иной социальной обстановке люди становятся вполне способны к горизонтальным договорам, гражданскому поведению, участию в демократическом процессе и т.д. В свою очередь, американцы, англичане и итальянцы (в меньшей степени немцы), долгое время живущие и работающие в России, среди русских, также довольно легко адаптируются, приучаются давать взятки, хорошо ориентируются в “распилах” и “откатах”, осваиваются в командной иерархии и т.д.

Предварительный вывод может быть таким: пресловутый “русский ген” — это действительно весьма устойчивое, живучее образование, склонное к воспроизводству “русской системы власти”. Но *полной автономии от внешних социальных условий не наблюдается*. Скорее, есть смысл говорить об устойчивости сложного комплекса поддерживающих друг друга черт социального, культурного и психического склада нации.

Тематика пространства, выбора направления и пути — другой источник метафор, популярный, как мы увидим, не только в общественно-политической публицистике, но и у классиков отечественной культурологии и обществознания. Ю.М.Лотман предложил в свое время весьма удачную метафору для понимания особенностей истории России. История эта отличается от истории других европейских стран: она — не поезд, плавно катящийся к месту назначения, а, скорее, странница, бредущая от перекрестка к перекрестку и всякий раз выбирающая путь заново [Лотман 1997: 635].

Эта *дорожная метафора* достаточно глубока, она высвечивает действительную склонность многих амбициозных правителей и властных элит в России “начинать все сначала”, разрушать прежний порядок “до основания” и т.д. Метафора имеет прямое отношение к известной цикличности русской политической истории. Новое направление пути выбирается по мере обнаружения того, что прежнее направление ведет в тупик и грозит опасным отставанием от соседей. Дорожная метафора Ю.М.Лотмана органично увязывается с биологической метафорой В.Б.Пастухова: для радикального поворота движения России в новом направлении правители

(Иван Грозный, Петр I, Николай I, Сталин) опираются на привычный ресурс: принуждение и вертикаль власти. Даже когда реформы на некоторое время обеспечивают альтернативу (Великие реформы Александра II, новая экономическая политика В.И.Ленина, хрущевская оттепель, перестройка М.С.Горбачева и постперестройка Б.Н.Ельцина), “русский ген” довольно скоро берет свое, наступает реакция, стагнация, либо же, как крайний случай, тоталитарная “революция сверху”.

А.Л.Янов в своей (уже упоминаемой [Янов 1997]) красноречиво названной книге выводит парадигму русской системы власти из режима Ивана IV со свойственными ему опричниной, репрессиями, карательными походами и т.д. А.Ахиезер, И.Клямкин и И.Яковенко спорят с А.Л.Яновым, утверждая, что у данного властного порядка имелась своя историческая логика: “Если учесть, что после освобождения от монгольской опеки Москва была озабочена не только присоединением новых территорий, но и защитой от внешних угроз тех, что уже находились под ее контролем, то феномен отечественного самодержавия не покажется всего лишь следствием политической неумяняемости и аномального властолюбия Ивана Грозного, а предстанет закономерным проявлением вполне определенной исторической логики” [Ахиезер, Клямкин, Яковенко 2006].

Здесь авторы либерального направления грешат не критичным принятием допущения, согласно которому защита от внешних угроз автоматически должна вести к крайней централизации власти, авторитаризму и самодержавию. Кроме того, для оправдания русской системы власти, вполне в духе представителей державничества, используется традиционный геополитический аргумент “осажденной крепости”. А поскольку никаких теоретических обоснований связи черт “русской системы” с постоянной необходимостью защищаться от внешних врагов не приводится, им приходится попросту воспроизводить популярные великодержавнические клише. По своему методологическому статусу формула “осажденной крепости” является не более чем *геополитической метафорой*, причем столь же сомнительной в научном плане, сколько выигрышной в риторико-публицистическом. Здесь нет возможности углубляться в крайне сложные, противоречивые данные о русской истории второй половины XVI века. Заметим только, что многие страны, также вынужденные в свое время обороняться (Нидерланды, Бельгия, Италия, Швейцария, Индия, Австро-Венгрия, Североамериканские колонии), развивались в направлении федеративных республик либо достаточно “мягких” монархий. Высокая степень централизма, самодержавие в большей мере характерны *не для обороняющихся стран, а для экспансионистских империй* (Османская империя, Испания XVI–XVII веков, Франция с XVII по начало XIX века, Пруссия и Германия с XVIII по середину XX века).

В более поздней работе Ю.С.Пивоваров определяет специфику русской власти так: “Идеалтипически самодержавие — это власть-насилие, власть как насилие, безо всяких там ограничений, ‘сдержек и противовесов’. Это — высшее напряжение, густота, интенсивность подавления, распределения, укрощения и пр. Оно качественно, а не количественно отличается от тех видов власти, с которым его обычно сравнивают. И в первую очередь от тех, что произрастают на Западе. Там власть, в каких бы

формах и обличиях она ни являлась миру, всегда и прежде всего — договор, конвенция, список условий, прав и обязанностей сторон, декларация об ограничениях и т.п. Да, и насилие тоже, но строго обузданное императивом права и рационально-дозированным ‘рассеянием’ (распределением)” [Пивоваров 2005]. Поскольку насилие позиционируется здесь как предмет социологии, а теоретическое и эмпирическое обоснование такого позиционирования хромает, следует квалифицировать данный взгляд как *социологическую (шмидтовско-веберянскую) метафору*.

Заметим, что Ю.С.Пивоваров полностью отрицает наличие в истории русской властной системы даже намеков на договоры и взаимоограничения. Можно согласиться с тем, что равноправие в ведении переговоров, взаимные уступки и компромиссы не характерны для российской внутренней политики. Вот как пишет об этом М.М.Лебедева: “В российской политической практике и дореволюционного, и советского периодов это находило выражение в стремлении к централизации государства, негативном отношении к компромиссам и разного рода согласованиям (в этом плане показательна статья В.И.Ленина ‘О компромиссах’, где он под компромиссами понимает временную уступку, с тем чтобы получить реванш), вере в справедливость решений начальства и т.п. Стремление к централизованному, бюрократическому управлению, пожалуй, достигло своего пика в Советском Союзе” [Лебедева 2001]. Тем интереснее сопоставить данный взгляд со все более влиятельной ныне институционалистской позицией, согласно которой *те или иные договоры есть везде и всегда, где и когда наблюдается хотя бы некое подобие стабильности*. Современный институционализм наряду с горизонтальным договором (контрактом) различает вертикальный (причем этот взгляд имеет свою традицию и своего классика — Т.Гоббса). Применительно к России это означает, что стабильность обеспечивало не голое насилие и принуждение, но некий скрытый, пусть вертикальный, но *договор*. Ю.С.Пивоваров мог бы возразить, что, например, у царского самодержавия никаких обязательств перед народом не было. Действительно, до октября 1905 г. никаких официальных документов относительно ограничения и обязательств верховной власти не зафиксировано. Более того, как справедливо указывает тот же Ю.С.Пивоваров, в официальных и неофициальных документах постоянно подчеркивались неограниченность и полнота самодержавной власти.

Значит ли это, что никакого договора не было? Будь так, столетия самодержавия, основанные на чистом принуждении (пусть даже с налетом традиционности и патриархальности), продолжались бы и по сию пору. Февральские и октябрьские события 1917 года (коллапс империи) свидетельствуют об обратном. В ходе этих событий был дискредитирован некий скрытый договор, ранее эффективно действовавший. Прежде чем углубиться в эту проблему, дадим методологическую квалификацию данной модели. Увы, пока это тоже только метафора, причем *метафора социологическая* (речь ведь идет о социальном взаимодействии), которую можно назвать *вертикально-договорной, или гоббсианской*.

Данная метафора имеет преимущество перед предшествовавшими в том, что не столько “закрывает”, сколько “открывает” тему. Действительно,

определение сущности русской системы через образы “мутанта”, “метафизического принципа”, “генома” или “беспредельного насилия” позволяет создать видимость понимания. Обозначить же природу системы как некий “договор” значит подготовить почву для вопросов: что это был за договор? Почему он нарушался? Почему и как восстанавливался?

ВЛАСТЬ И НАРОД: ИСТОРИЯ НЕГЛАСНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ

Что же это за договор времен Российской империи? Разумеется, речь пойдет о геополитике и религиозной культуре. Закрепощение крестьян (а в свое время также дворян и посадских — горожан) долгое время оправдывалось одним — расширением территории России (“Святой Руси”). Отнесение прочих религий в разряд либо языческих, либо отступнических придавало расширению своей территории метафизический смысл, ради которого можно было всю жизнь трудиться в поте лица и умирать на поле боя. Этот взгляд подтверждают, казалось бы, странная живая заинтересованность простых мужиков во внешней политике и мужество русских солдат, готовых терпеть лишения и умирать за веру, царя и отечество [см. Лурье 1997: 262–286].

Первое громкое поражение (в Крымской войне) привело не только к известным реформам Александра II, но и к готовности проливать кровь за Бухару, а позже — к массовым антитурецким и антианглийским настроениям, что воплощалось в самоорганизации военных комитетов накануне Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Точкой перелома была Русско-японская война, затем последовали крестьянские бунты 1905–1907 годов и их жестокое подавление в 1908–1910 годах. Некая неформальная, но значимая связь между народом и государством (воплощенном в царе, помещиках и офицерстве) распалась. Вот эту связь и следует трактовать как негласный договор, примерно с такой формулой: *“Мы, православный народ, готовы нести трудовое тягло, умирать в боях, а вы, царь и помещики-офицеры, должны успешно расширять землю Святой Руси”*. Поражение в Русско-японской войне привело к массовому озлоблению и началу делегитимации царя, помещиков и офицерства, что во многом и обусловило гибель империи уже после многочисленных катастроф в ходе Первой мировой войны.

Структурное объяснение состоит в нарушении вертикального договора: царь и помещики-офицеры перестали выполнять свою часть договора (успешное расширение Святой Руси), стали проигрывать войны и утратили легитимность, а вместе с ней и право принуждать народ к труду и войне. Правители лишились метафизического права на “землицу”, права на власть, а война потеряла религиозный смысл. Отсюда и популярность лозунгов *о земле и мире*, чем не преминули воспользоваться чуткие к настроениям в народе большевистские вожди.

Взяв власть, большевики подхватили эстафету прежнего вертикального договора. Именно этот фактор представляется важнейшей из причин удивительной популярности среди рабочих и солдат (вчерашних землепашцев) большевиков и большевистской идеи. Казалось бы, в социально-экономической сфере сильнее должны были быть позиции эсеров (и они действительно пользовались широкой поддержкой — достаточно указать на эсеровское большинство в Учредительном собрании). Однако в предельной

ситуации раскола страны и Гражданской войны наибольшую поддержку получили именно большевики. Обещали же они коммунизм (правду) во всем мире, который начнется с воцарения коммунизма в России. Именно этот лозунг настолько удачно лег на архетипы народного сознания, что вертикальный договор был восстановлен и люди опять готовы были трудиться в поте лица “за палочки” и умирать за победу коммунизма во всем мире, за Сталина и за Советскую Родину.

При Хрущеве еще оставалась надежда на технологический и экономический рывок, мощно подпитываемая явным экономическим ростом, улучшением жизни послевоенных поколений и успехами в космосе. При Брежневеве надежды уже угасли, причем не только в широких массах, но и в правящих элитах. Основа вертикального договора рушилась, “время пошло”. Власть стала откровенно интересоваться только сохранением status quo. При этом сохранялся важнейший геополитический компонент вертикального договора, но уже не наступательный (борьба за победу коммунизма во всем мире), а консервативно-оборонительный.

Новый распад вертикального контракта в конце 1980-х — начале 1990-х годов во многом был связан с очевидным поражением в Афганистане. Причем, заметим, стимулом к началу войны для советской элиты служили не экономические и даже не геополитические мотивы. Как ни странно, ее стимулы можно назвать сугубо идейными. Отход Афганистана от “социалистического” пути развития рушил представление о поступательности исторического процесса, согласно которому страны пусть медленно и с трудностями, но будут вступать на путь развития социализма как более прогрессивной по сравнению с капитализмом формации. Неужели для того, чтобы послать тысячи людей в далекие и опасные афганские горы, достаточно было идейно-теоретической мотивировки? Разумеется, последняя имела серьезную подоплеку — сохранение легитимности действующей советской власти и советских порядков на территории СССР. Но в то же время, афганская война была отчаянной попыткой коммунистической элиты *продлить действие вертикального контракта*, опять же ради сохранения и укрепления собственной власти.

Все сказанное позволяет трактовать перестройку, распад Варшавского блока и СССР как процессы разложения и окончательной элиминации прежнего вертикального контракта. Согласно лотмановской метафоре, началось движение к “новой станции”. Турбулентность 1990-х годов выступает здесь уже не как хаос, а как попытка власти установить новый вертикальный контракт: “*Мы даем вам возможность приватизировать что удастся и богатеть в условиях свободного рынка, а вы нас если и не поддерживаете, то, по крайней мере, терпите*”. Попытка такого контракта провалилась, о чем свидетельствуют и широкое недовольство результатами приватизации, и массовые невыплаты зарплат, и дефолт, и правительственная чехарда в конце 1990-х годов. Новая версия вертикального контракта со стороны власти может быть упрощенно выражена таким образом: “*Мы вам — сопоставимые со славными советскими временами порядок и стабильность, регулярные повышения зарплат, а вы нам — признание и поддержку на неопределенное время*”.

Данный контракт, по-видимому, остается неустойчивым, ненадежным, что толкает власти к новым и новым шагам по обеспечению полноты эко-

номического, политического и идеологического контроля над ситуацией в стране. Достаточно жестко пишут об этом А.Щербак и А.Эткинд: “Механизмом консолидации элит в России стало исключение несогласных и устрашение колеблющихся, обеспеченное серией показательных процессов над лидерами крупного бизнеса и публичной сферы. Соединив в одних руках управление правоприменением, финансовой системой и крупным бизнесом, федеральная власть все откровеннее обращается к тоталитарным моделям, которые живы в памяти действующего поколения. Члены правящей группы претендуют на роли верховных распорядителей всей системы государственной и общественной жизни. Соединяя в себе противоречивые начала элитизма, прагматизма и национализма, идеология этих людей оказалась прежде всего антидемократической” [Щербак, Эткинд 2005].

Проведенный пунктирный анализ судьбы “вертикального договора” в России показывает, что данная модель договора неплохо объясняет основные события отечественной политической истории, а соответствующая метафора вполне может претендовать на то, чтобы быть преобразованной в концепцию и теорию.

В ней уже нет ничего метафорического, кроме остаточной механической терминологии (“привязка”). Модель имеет концептуальный, “открывающий” характер: появляется много содержательных вопросов о дифференцирующих условиях, определяющих выбор горизонтально-договорного, насильственно-принудительного или вертикально-договорного способа “привязки крестьянина к земле”. Разумеется, в одной статье нет возможности рассмотреть все имеющиеся типы объяснений феномена “русской власти”, но этого и не требуется. Для начала вполне достаточно приведенного набора весьма разноречивых и потенциально богатых идей.

КАК ОБЪЯСНИТЬ ФАКТ ВОЗРОЖДЕНИЯ “РУССКОЙ ВЛАСТИ”?

Вернемся к поставленному в начале статьи вопросу об истоках упорного воспроизводства в веках “системы русской власти”. Казалось бы, на него несложно ответить, вооружившись биологической и дорожной метафорами. Действительно, “русский ген власти” после соединения с западными новшествами и краткого периода мутаций и гибридизации вновь проявляет свою твердую, неизменную природу и порождает структуры власти, сходные с прежними. В дорожной метафоре беспорядочные метания от перекрестка к перекрестку, даже при забвении пройденного пути, каждый раз обнаруживают главный центр притяжения – систему русской власти, к которой и совершается возврат.

Легкость метафорической интерпретации хоть и способствует созданию ясного и зримого образа, но оставляет за скобками главный концептуальный вопрос: фатально ли возвращение и при каких условиях возможно поступательное продвижение без циклов и возвратов? Или – в терминах использованных метафор: при каких условиях мутации “русского гена” станут радикальными и необратимыми? При каких условиях “центр притяжения” покинет “русскую систему власти” и переместится на иные “станции”?

М.М.Лебедева предлагает следующее объяснение последнего возврата к русской системе власти: “...Крайне важно, что уменьшение роли государства в

жизни России не сопровождалось реальным переходом властных полномочий к негосударственным акторам, как это в значительной степени происходило в странах Западной Европы и Северной Америки. Фактически многие структуры гражданского общества в России так и остались в зачаточном состоянии. В результате в обществе стала формироваться выраженная потребность в 'наведении порядка', укреплении государственности, усилении позиций на международной арене. По этой причине крайне позитивно воспринимаются решительные действия, в которых демонстрируется сила государства, его мощь. В общественном настроении, согласно опросам, к концу 1990-х годов все более доминировала ориентация на власть, порядок, силу" [Лебедева 2001].

Объяснение вполне приемлемое, но раскрывающее только поверхностный слой причинных связей. Почему в одних местах властные полномочия переходят от государства к "негосударственным акторам", а в других этого не происходит? Почему сами люди не доверяют реально появляющимся "другим акторам", не включаются в их организации, но делают главную ставку либо на вхождение в государственные структуры, либо на "связи" в них? Почему "порядок" столь устойчиво ассоциируется с жесткими государственными мерами, с твердой и суровой верховной властью?

Надежные, эмпирически подкрепленные ответы на вопросы такого рода можно получить только путем социологических, политологических и сравнительно-исторических исследований [Рейджин (Рэгин), Берг-Шлоссер, де Мёр 2004; Разработка и апробация 2001; Розов 2002, гл. 5]. Но для самой постановки этих исследований требуется предварительная концептуальная модель, для построения эскизного варианта которой представляются достаточными приведенные выше метафоры и идеи.

Ядро концепции: понятийная экспликация метафор

Пастуховский "русский ген" (биологическая метафора) раскрывается как устойчивый, самовоспроизводящийся в историческом времени комплекс особых *социальных структур* (отношений, организаций и институтов), *культурных образцов* (идей, ценностей, принципов, передающихся из поколения в поколение) и *психических установок*, управляющих сознанием и поведением индивидов и групп [Розов 2006].

Пивоваровское "насилие" (социологическая шмидтовско-веберианская метафора) отражает ключевые характеристики основных компонентов данного комплекса: преимущественно принудительные *социальные отношения* в организациях и институтах с постоянно присутствующей угрозой легитимированного государством насилия (побоев, ареста, конфискации имущества, лишения свободы, казни), а также запечатленные *в культуре* символы и ценности "порядка" и "сильной руки", преобладание принуждения *в установках сознания и поведения*.

"Вертикальный договор" (социологическая гоббсианская метафора) не противоречит "принципу насилия", а дополняет и подкрепляет его. Действительно, если сторонами принят (как правило, на неформальном и даже на подсознательном уровне) тот или иной вертикальный договор, то он становится для них *главным легитиматором подчинения и насилия*. При этом проявляется особая социальная роль так наз. "высших ценностей" (Святая

Русь, Правда, Порядок, Служение Отчизне, Коммунизм во всем мире, Советская Родина, Великая Россия и т.д.). Вертикальный договор в России всегда предполагал ответственность власти за эти ценности, что до поры до времени оправдывало тяготы и лишения, готовность народа терпеть принуждение и насилие со стороны государства и его представителей.

Лотмановское “движение странницы без памяти о ее прошлом пути, движение каждый раз заново” — это попытки новой власти полностью сменить социальные формы и убеждения людей (“старомосковское” на “аглицко-голландско-петербуржское”, “старорежимное” на “революционное”, “советское” на “демократическое”) в соответствии с новыми, обычно импортированными с Запада, идеями, ценностями и практиками. Кружение на месте, постоянный возврат к “системе русской власти” объясняются наличием во всех трех сферах более глубокого инвариантного слоя: неизменным оставался приоритет поддерживаемого государством принуждения и негласных вертикальных договоров в социальных структурах; в культурных образцах и психических установках сохранялся глубинный слой “порядка”, “сильной руки”, надежды на “управу”, государственного патернализма.

Физикалистская метафора утолщения-истончения привластных социальных слоев и распределяющейся между ними власти-собственности может быть естественным образом эксплицирована в концепциях стратификации, социальной мобильности, мобилизации, накопления капитала. Детальная понятийная проработка — отдельная задача. Здесь мы лишь сформулируем комплекс гипотез, но уже не метафорически, а концептуально.

ГИПОТЕЗЫ, ОБЪЯСНЯЮЩИЕ ИСТОРИЧЕСКУЮ ЦИКЛИЧНОСТЬ АВТОКРАТИИ

В течение каждого относительно длительного периода стабильности (30–50 лет) те или иные социальные группы накапливают имущественный ресурс (капитал в широком смысле) и обретают способность к мобилизации и консолидации для отстаивания своих имущественных и иных прав, в той или иной форме претендуют на участие в принятии правовых и политических решений.

В терминах вертикального договора это означает претензии на превращение его в систему (режим) горизонтальных договоров. Если верховная власть идентифицирует себя как абсолютная автократия (самодержавие) и не готова к горизонтальным контрактам (которые всегда ее ограничивают), она предпринимает репрессивные действия против групп держателей ресурсов, привлекая для этого силовые структуры и низовые группы.

В одних условиях (когда сами проводники этой политики — собственники) верховная власть расплачивается с низовыми союзниками долей экспроприированных ресурсов, и тогда рекурсивное повторение процесса ведет как раз к расширению привластных слоев и дроблению собственности. В других — когда проводниками политики оказываются неимущие чиновники — власть концентрирует ресурсы (вплоть до полной национализации), расплачиваясь “распределением пайков”. В любом случае нахождение некой приемлемой формы вертикального контракта открывает новый период стабильности, и цикл повторяется.

ЗАКРЕПОЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ — СЛЕДСТВИЕ ДОГОВОРА ВЛАСТИ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ РЕСУРСОВ

К числу референций, часто используемых при создании объяснительных моделей, относятся также экономика и география. Свою версию модели вертикального договора экономист А.А.Аузан дополняет объяснением специфики русской власти, усматривая ее в свойственной этому типу власти тяге к закрепощению населения.

“Когда по сравнению с земельным ресурсом дефицитен ресурс человеческий, возможны два варианта. Либо человеку придается высокая цена, и в этом случае не только быстро развиваются формы частной собственности, но и чрезвычайно повышаются социальные нормы. Либо — и Россия пошла именно по этому пути — раз уж нельзя экономически привязать человека к земельному участку, поскольку у него есть возможность уйти на Юг, на Восток, на Север, то надо его привязать принудительно” [Аузан 2004].

Значимость государственного принуждения в России и его специфика также получают здесь объяснение: “Такая политика напоминает то, что делали меркантилисты в странах Западной Европы. Но есть серьезное отличие. Да, всюду в Западной Европе насилие применялось для того, чтобы загнать люмпена в зоны наемного труда, но в России это насилие применялось для того, чтобы силой государства закрепить людской ресурс за средством производства. Приписные крестьяне — удивительное явление: купец не мог владеть крестьянами, и тогда их приписывали к заводу, к вещи. Формальным обладателем живых душ была вещь. А решающую роль играло государство, поскольку без него это все не может действовать” [там же].

Если в представленную выше концептуальную модель включены экономико-географические представления о человеческом труде как дефицитном ресурсе, о разных способах привязки крестьян к земле и факторе больших российских пространств, — то, следовательно, данная модель рассматривает социальные отношения и структуры с учетом как социально-политических связей между людьми (кто решает, кому подчиняются и т.д.), так и социально-экономических связей между людьми и основными ресурсами, средствами производства (кто чем владеет или распоряжается, кто защищает права, распределяет, следит за правилами обмена и т.д.).

На первый взгляд, основными в России являются (в духе следования марксизму) социально-экономические отношения *власти-собственности и перераспределения* (от передачи поместий в царской России до деятельности Госплана в СССР и восстановления госконтроля над основными фондами в современной Российской Федерации). Но при внимательном анализе обнаруживается еще более глубокий слой — социально-политическое отношение опять же в форме *вертикального договора*, но уже не между населением и элитой, а *между верховной властью и основными держателями ресурсов*. Данный негласный договор, воспроизводящийся через сломы империй, формаций и политических режимов, с позиций верховной власти формулируется примерно так: “*Вы служите нам верой и правдой, делитесь богатством, когда потребуется, а мы вас в обиде не оставим — дадим каждому по службе, а если провинитесь, то можем все и отобрать, передать более достойным*”. Поскольку перераспределяемый ресурс (поместье, завод, нефтедобывающее предприятие) передается

вместе с рабочей силой, то принуждение по отношению к работникам оказывается не более чем побочным эффектом этого негласного договора.

НАДЕЖДА НА “УПРАВУ” И ВЕЛИКИЕ ПЕРЕДЕЛЫ

Сохранение в той или иной форме негласного *вертикального договора* — и есть причина пресловутого неизбывного доверия россиян к царю-батюшке, вождю или президенту, причем в прямой пропорции к их реальной или явленной “строгости”, способности сурово наказать зарвавшихся бояр, местных руководителей или олигархов. Явственное падение популярности Николая I, Хрущева, Брежнева, Горбачева, Ельцина, насмешки над ними напрямую связаны с их недостаточной твердостью и суровостью.

Простой народ терпит унижение не от государства вообще, а от ближайшего начальства и хозяев, от сравнения своего уровня жизни с бьющей в глаза роскошью богатеев. Общепризнанная любовь к строгому и суровому вождю питается энергией подспудной надежды: на каждого начальника-обидчика, на каждого “хапугу-прихвизатора” *рано или поздно найдется управа*. Это широко распространенное народное чаяние наилучшим образом гармонирует с практикой верховного перераспределения. Здесь мы имеем теснейшую смычку *массовых установок* с рецидивирующей практикой *обеспечения верховной властью своего контроля над держателями ресурсов* — “великими переделами”, т.е. произвольным перераспределением основных источников богатства. Вероятно, эта связка не единственная, хотя она явно одна из ключевых, коль скоро речь идет о формах обеспечения удивительной живучести русской системы власти и ее воспроизводства*.

20

НЕСТАБИЛЬНОСТЬ АВТОРИТАРИЗМА И НЕОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ “ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ПЕРЕХОДА”

Ничего специфически русского в представленной выше концепции нет. Вертикальные договоры распространены во всех традиционных и авторитарных обществах, как и во многих демократических (здесь — наряду с горизонтальными). Стремление к абсолютной автократии также отнюдь не уникально. Стало быть, данная концепция открывает широкое поле сравнительно-исторических исследований, а сравнительная политология набирает силу и авторитет. О чем же свидетельствуют ее первые шаги?

Сопоставим теоретические обзоры сравнительно-исторических и сравнительно-политологических исследований таких разных авторов, как профессиональный политолог В.Я.Гельман и экономист Е.Т.Гайдар (второй все чаще обращается ныне к вопросам мировой истории и политики)**.

* В том же ряду следует упомянуть “узлы-синдромы”, воспроизводящие маятниковый характер циклов русской истории: геокультурную пубертатность (подростковое неустойчивое преклонение/отрицание русских, обращенное к Европе и Западу), геополитический невроз (метания между мессианским великодержавием и самоуничтожением) и этатистско-эскапистское расщепление сознания (совмещение упований на государственное принуждение для других со стремлением избежать его самому) [Розов 2006].

** Отраднo, что помудревший с годами “отец рыночных реформ” обратился к жесткой критике авторитаризма, но грустно, что он не счел нужным в этом контексте дать оценку вполне авторитарной и недемократической по сути политики “навязанного перехода” (проводимой в период его премьерства) и последствиям этой политики.

Е.Т.Гайдар фокусирует внимание на повсеместной неустойчивости авторитарных режимов (в отличие от традиционных и демократических), объясняя этот феномен отсутствием надежного способа передачи власти и неуклонным падением легитимности авторитаризма вследствие модернизации, информационной глобализации, а также повышением значимости свободы для обширных слоев населения, особенно молодежи. Однако перспективы оказываются неутешительными и при анализе “механизмов краха авторитаризма”: последний может либо перерасти в тоталитаризм, взяв на вооружение мессианскую идеологию и распространив контроль над повседневной жизнью, сознанием и поведением людей посредством гипертрофии аппаратов принуждения, либо оборваться в революцию и радикализм с последующим восстановлением авторитаризма в новой форме. Успешная демократизация центральноевропейских стран объясняется их вовлеченностью в пространство демократической Объединенной Европы [Гайдар 2006].

В.Я.Гельман пишет о шансах и способах перехода постсоветских стран к демократии, указывая на три видимых варианта такого перехода: 1) постепенное принятие формальных демократических институтов в качестве побочного продукта конкурентной, прежде всего электоральной политики; 2) возврат к неконкурентной (читай: авторитарной) политике и последующее введение формальных институтов для легитимации и укрепления власти; 3) подрыв складывающегося режима и “новый навязанный переход” в результате эскалации конфликтов. Разбор каждого варианта с привлечением сравнительного материала приводит к неутешительным выводам. Демократический переход каждый раз оказывается крайне маловероятным [Гельман 2001: 24–26].

На первый взгляд, можно зафиксировать торжество идеи “русской власти”: в обоих аналитических обзорах перспективы демократизации для России выглядят крайне маловероятными (чтобы не сказать безнадежными). К тому же пресловутая нестабильность авторитарных режимов (Е.Гайдар), их внутренняя конфликтность (В.Гельман) и неустойчивость вертикальных договоров (А.Аузан) для “русской власти” — не помеха; она и в прошлом пережила немало сломов, смут и трансформаций, переживет и последующие циклы авторитарных взлетов и падений. Наконец, социологические опросы также не дают оснований говорить о растущем народном стремлении к свободам и каких-то серьезных признаках делегитимации авторитаризма в современной России.

РАСШИРЕНИЕ СУБЪЕКТНОСТИ И ПРЕВРАЩЕНИЕ КОНСТАНТ В ПЕРЕМЕННЫЕ

И все же ситуация, как нам представляется, не столь безнадежна: свет надежды несет расширение концептуального видения проблемы. Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов в полном согласии с магистральной традицией русской политической истории фокусируют внимание на решениях и действиях представителей верховной власти (царей-генсеков-президентов и их ближайших советников), оправдывая свой подход пресловутой метафизической “моносубъектностью Русской Власти”. В нашей концепции выступают на сцену *не только группы держателей ресурсов, но и низовые слои, от сознания и поведения (субъектности!) которых многое зависит.*

Ю.С.Пивоваров и А.И.Фурсов, похоже, исходят из того, что почти все социальные слои и группы в России движимы инстинктом восстановления “русской власти”, тогда как акторы, против нее выступающие (бояре, верховники, декабристы, кадеты, диссиденты), безжалостно выбрасываются на свалку истории.

Если же отступить от “метафизики” и опереться на принципы социально-исторической динамики, то приверженность тех или иных групп и слоев “русской системе” (читай: монополизации власти, принуждению и насилию, “сильной руке”, “вертикали власти”, подавлению любой оппозиции и пр.) должна пониматься как *зависимая величина*, на которую влияют некие опять же меняющиеся факторы. Тем самым открываются возможности целого спектра социологических, сравнительно-исторических и сравнительно-политологических исследований.

УСЛОВИЯ ЛЕГИТИМНОСТИ ПРИНУДИТЕЛЬНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ И АВТОКРАТИИ

Особый интерес вызывает проверка следующей гипотезы: массовые установки на оправданность (необходимость) принуждения и насилия для “наведения порядка” усиливаются при сочетании определенных факторов, как то:

– ассоциирование прежней “славной эпохи” (геополитического престижа) и “порядка” (низкого уровня воровства, коррупции, злоупотреблений властью) с принудительным и насильственным характером власти (“сильной рукой”);

– отсутствие опыта смещения руководителей посредством общественных протестов, демократических процедур и судебных процессов, инициированных “снизу”;

– распространенность авторитарных отношений, патернализма в семьях, детских и образовательных учреждениях, государственных структурах и частных компаниях, что выражается, прежде всего, в отстранении младших и подчиненных не только от принятия решений, но и от обсуждения их;

– опыт службы в армии, особенно в такой, где порядок обеспечивается прямым принуждением, постоянной угрозой унижения и физического насилия.

Заметим, что гипотеза не имеет дела с чем-то специфически русским (или российским) и поддается проверке на материале разных стран, разных исторических эпох. Сопоставление же контрастных групп по указанным факторам актуально именно для России. Обратная сторона гипотезы состоит в том, что люди:

– не ассоциирующие славные эпохи прошлого с принуждением и насилием;

– знакомые с фактами смещения руководителей в результате инициированных “низами” протестов, демократических процедур и судебных разбирательств;

– воспитывавшиеся в семьях и работающие в организациях с низкой авторитарностью и высокой партиципаторностью;

– не служившие в армии или служившие в частях с низким уровнем насилия и унижения (например, в авиации, разведке), – все они наименее склонны уповать на принуждение и насилие как средства “наведения порядка”. Все сказанное практически задает смысловое ядро соответствующей программы эмпирических политико-социологических исследований.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Гипноз удава — это страх кролика (Ф.Искандер). Могущество и устойчивость “русской власти” напрямую зависят от поддержки ее разными группами населения, в том числе и от ее легитимации историками и политологами. Однако поддержка и легитимация — не единственно возможная реакция на “русскую власть”; последняя отнюдь не вечна. Указанию на имеющуюся альтернативу и посвящена, прежде всего, данная статья.

“Русская власть” — это вполне реальная историческая субстанция, и ныне мы вновь вкушаем ее плоды. Следует признать потрясающую живучесть данного феномена, его способность возрождаться и набирать силу. Однако разве не может (и не должен!) наметившийся “метафизический” пиетет перед этим идолом-мутантом смениться концептуализацией, критическим обсуждением, выдвиганием и проверкой гипотез, широкими сравнительными исследованиями — и все это ради получения ответа на вопрос: при каких условиях “русская власть” сменится в России на нечто более приемлемое?

Аузан А.А. 2004. Вертикальный контракт неустойчив. — *Отечественные записки*, № 6.

Ахиезер А., Клямкин И., Яковенко И. 2006. *История России: конец или новое начало?* М.

Гайдар Е.Т. 2006. Авторитарные режимы: причины нестабильности. — *Общественные науки и современность*, № 6.

Гельман В.Я. 2001. Постсоветские политические трансформации: наброски к теории. — *Полис*, № 1.

Лебедева М.М. 2001. Формирование новой политической структуры мира и место России в ней. — *Мегатренды мирового развития*. М.

Лотман Ю.М. 1997. *Карамзин*. СПб.

Лурье С.В. 1997. *Историческая этнология*. М.

Пастухов В.Б. 2001. Конец русской идеологии. Новый курс или новый Путь? — *Полис*, № 1.

Пивоваров Ю.С. 2005. Русская власть и публичная политика. Заметки историка о причинах неудачи демократического транзита. — *Полис*, № 6.

Пивоваров Ю.С., Фурсов А.И. 1999. Русская Власть и Реформы. — *Pro et Contra*, Т. 4, № 4.

Разработка и апробация метода теоретической истории. Вып. 1 серии коллективных монографий “Теоретическая история и макросоциология”. 2001. Новосибирск.

Розов Н.С. 2002. *Философия и теория истории. Книга 1. Прологомены*. М.

Розов Н.С. 2006. Цикличность российской политической истории как болезнь: возможно ли выздоровление? — *Полис*, № 2.

Рейджин (Рэгин) Ч., Берг-Шлоссер Д., де Мёр Ж. 2004. Современная политическая наука: новые направления. — *Политическая методология: качественные методы*. М. (www.nsu.ru/filf/rpha/papers/ragin1.htm).

Щербак А., Эткин А. 2005. Призраки Майдана бродят по России: превентивная контрреволюция в российской политике. — *Неприкосновенный запас*, № 43.

Янов А.Л. 1997. *Тень Грозного царя. Загадки русской истории*. М.

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (исследовательский грант № 06–03–00346а).